

В БДТ, у Товстоногова

Культура. — 2004. — 18-24 марта. — С. 14

Вспоминая Ираклия Андроникова

Телеканал "Культура" — вне дат и юбилеев — вернул недавно на домашние экраны одно из наиболее значительных созданий нашего телевидения — "собрание исполнений" Ираклия Андроникова, его знаменитые устные рассказы, ставшие блистательными фильмами-монологами, которыми в свое время наслаждалась страна, и тогда монологи становились диалогами с теми, к кому и были они обращены, ибо их автор был по существу своему, по призванию просветителем в самом высоком и прекрасном значении этого слова, увы, давно уже ушедшего из современного лексикона.

В сущности, и тогда, на премьерных показах, было ясно: Андроников с командой телеэнтузиастов и единомышленников создали творения уникальные, нигде и никогда прежде не появлявшиеся. Они были по-настоящему новаторскими — по духу и по форме, по глубине мысли, увлекательности самого выдающегося свойства, родниковой чистоте русского языка. Все это в первую очередь определялось масштабом личности, уникальностью самого рассказчика, человека, обладающего высокой художественной культурой, энциклопедическими знаниями и еще многими талантами, дарованными ему небом.

Пожалуй, лучше всего эти его качества описал хорошо знавший Андроникова Корней Чуковский. Вот что сказал он в предисловии к великолепным "Рассказам литератора", которыми зачитывались и дети, и взрослые:

"...Я раньше всего написал бы без всяких покушений на эксцентрику: Андроников Ираклий Луарсавович — колдун, чародей, чудотворец, кудесник. И здесь была бы самая трезвая, самая точная оценка этого феноменального таланта. За всю мою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который был бы хоть отдаленно похож на него".

Это колдовство и чародейство в полной мере довелось ощутить и мне за почти четверть века дружбы с Андрониковым. Мне посчастливилось быть свидетелем его волшебства, когда в совместных наших путешествиях по Верхневолжью, Валдаю, берегам Селигера, в дорожных разговорах, случайных или заранее запланированных встречах рождались его колдовские строки, сюжеты, истории, которые становились потом, за письменным столом в Переделкине или в уютной квартире на площади Пушкина в Москве, блистательными рассказами, очерками, путевыми заметками, с яркостью и точностью необыкновенной ("У Ираклия фотографическая память". Алексей Толстой) запечатлевшими время и людей, в нем живущих, раздумья о прошлом и будущем земли, которую Андроников любил самозабвенно.

Словом, мне довелось увидеть то, что обычно скрыто от посторонних глаз и составляет святая святых писателя — сам процесс создания, сотворения, когда из пыли повседневности, подобно золотой розе Паустовского, рождается искусство, потрясающее сердца.

Однажды в Твери мы неожиданно надолго застряли в уникальном музее, собравшем предметы быта древней верхневолжской земли. Ираклий Луарсавович устроил настоящий концерт на поддувных колокольчиках — валдайских, тверских, владимирских, — коими так богата экспозиция музея. Он играл самозабвенно, что то тихонько напевал, потом вдруг умолкал, вслушиваясь в затихающие звоны, и снова трепетно прикасался пальцами к серебряным язычкам.

Постороннему человеку могло все это показаться ребячеством, забавой. Но я знал, что просто так у Андроникова ничего или почти ничего не бывает.

Потом, уже когда наше путешествие продолжилось, где-то около Медного озера, до того молчаливый, вдруг спросил меня:

— Алексей Степанович, не могли бы вы напомнить бедному мизерному строку знаменитой песни "Вот мчитесь вы троица..."?

— Пожалуй! — тотчас же ответил я, не ожидая подвоха, и начал:

*Вот мчитесь троица удалая
В Казань дорогой столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гремит уныло под дугой.*

Ираклий Луарсавович, дослушав куплет, широко улыбнулся и похлопал в ладоши:

— Bravo, bravo! Однако настоящая "Троица" имеет несколько иные слова. Написал ее, как, вероятно, вам известно, ваш земляк Федор Глинка. И начиналась она так:

*Вот мчитесь троица удалая
В Казань дорогой столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гремит уныло под дугой.*

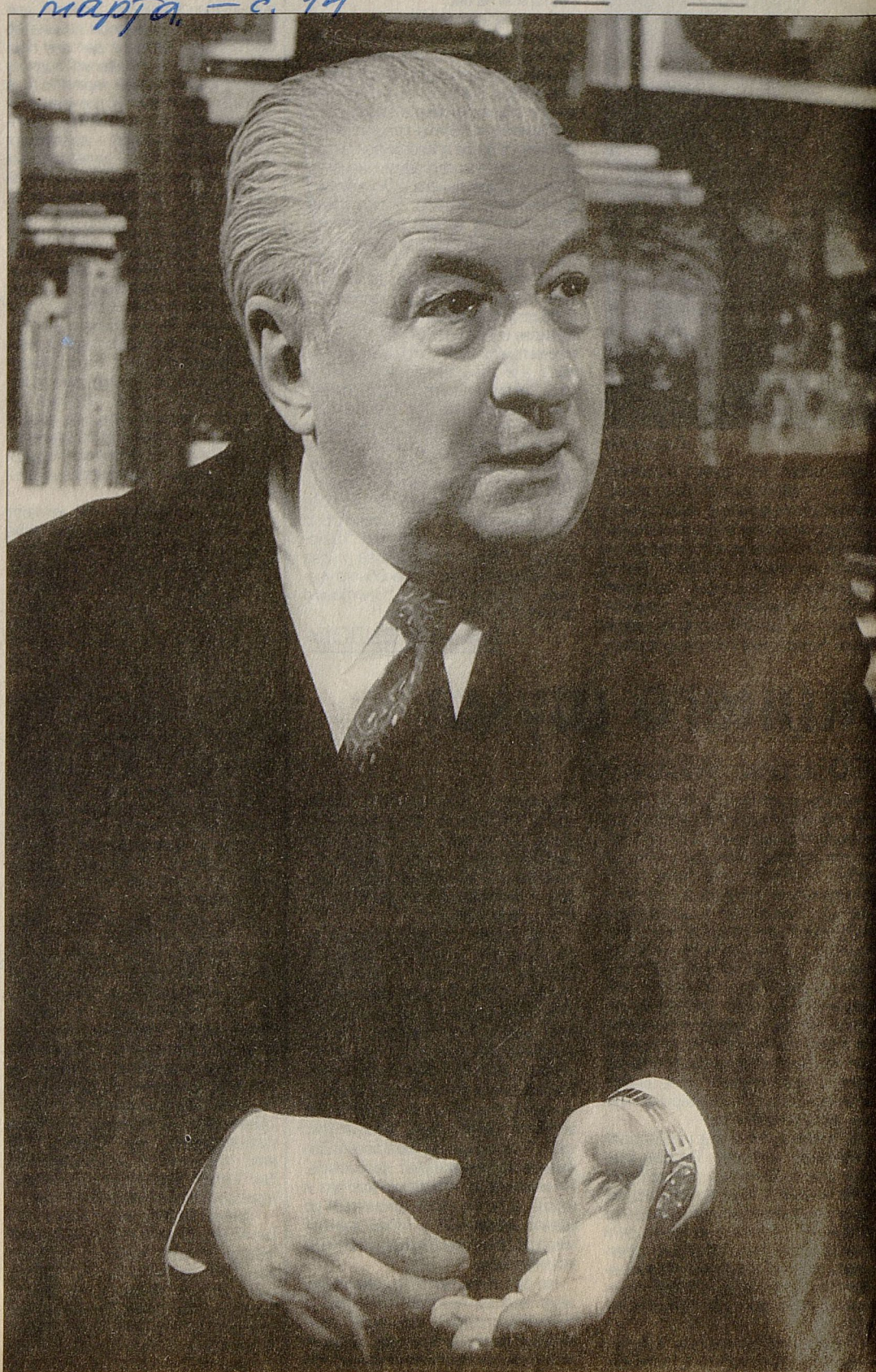
Но, дорогой Алексей Степанович, строчки эти не сразу стали песенными. Вначале входили они, как часть его, в другое стихотворение Глинки и "Тройкой" стали лишь семь лет спустя после первой публикации...

Я слушал, стараясь не пропустить ни слова, потому что понял: вот почему ослепивший Андроников нас неожиданной "колокольчиковой симфонией" в Твери! Она — часть какого-то нового его замысла.

Он между тем продолжал:

— А не скажете ли вы заодно, кто написал музыку этой прекрасной песни? Ах, она народная? Но ваш тезка Алексей Николаевич Верстовский, известный композитор и дирижер, с этим вряд ли согласился бы, поскольку именно он, говоря современным языком, озвучил глинкинскую "Тройку" а еще написал и такие оперы, как "Аскольдова могила", "Пан Твардовский", "Громобой". Песня же на слова Федора Глинки была написана им в 1828 году и вскоре действительно стала народной, на что, думаю, авторы ее не обижались...

Я закрыл раскрытый в изумлении рот уже после того, как мы миновали Медное и впереди было знаменитое село Знаменское-Раев: усадьбу не менее построй великий русский архитектор Николай Александрович



И. Андроников

Львов, память которого собирался непременно почтить в этой поездке Ираклий Луарсавович.

Юд спустя я увидел на столе переделкинской дачи Андроникова свежее, теплое и аккуратно разложенное по страницам рукописи. На титульном листе было начертано: "К музыке", рядом — "О русских 'Тройках'". Он разрешил мне прочитать рукопись, и я без труда обнаружил в ней наш дорожный диалог, воспроизведенный почти дословно, и в моем сердце вновь зазвучали тверские колокольчики.

Так было много раз в путешествиях с "магом и чародеем": когда я являлся для него аудиторией, на которой пробовалось новое, обкатывалось уже существующее, выверялось, корректировалось, ибо, к моему немалому удивлению, замечания мои, хоть и робкие, но всегда вполне конкретные он воспринимал серьезно.

Но в беседах и монологах этих присутствовала и другая цель: Андроников, кроме уже сказанного о нем, его признании и дарованиях, был еще и педагогом, учителем, воспитателем в самом широком смысле этих слов. Он деликатно, но настойчиво восполнял пробелы моего университетского филологического образования, стараясь обратить сумму знаний, которые дает человеку наша высшая школа, в систему знаний, что позволяет человеку не только блеснуть эрудицией, но и самостоятельно мыслить, без чего истинная культура не представляется.

Именно из его уст услышал я о таких великих интерпретаторах классической музыки, как Бруно Вальтер и Отто Клемперер, Фриц Штидти и Ханс Кнаппертсбух, композиторах Шенберге и Респиги. По дороге от Кушенина до Осташкова Андроников однажды прошептал и пропел, дирижируя, одну из симфоний Малера, мелодию которой, как мне кажется, не смог бы воспроизвести и сам автор. Он рассказал мне о Николае Гюгове и истоках музыкальности Лермонтова, как-то неожиданно и очень естественно перекинув мостик к уже упоминавшемуся выше архитектору Львову, который был прекрасным музыкантом, составителем одного из первых нотных собраний русских народных песен, автором либретто комических опер, писал совсем недурные стихи, успешно переводил...

Что же касается Федора Глинки, то когда на пелище споровшей дачи в Переделкине Ираклий Луарсавович отсылал считавшийся утраченным заветный портфель с уникальными рукописями, он подарил мне одну из них с автографом поэта-декабриста, сказав: "Берите, берите, вам нужнее".

Подобные примеры можно многожить, не боясь девальвировать их значимость. Поэтому, если я, осознавая честь и ответственность за сказанное, назову Ираклия Луарсавовича Андроникова своим учителем, это не будет преувеличением. Хотя мою провинциальную восторженность в оценках и суждениях он замечал и добродушно вышучивал ее, стараясь отучить меня от крайностей, а я искренне пытался избавиться от этого, впрочем, не такого уж тяжкого греха. Увы, не вполне успешно...

Признаюсь, мне очень хотелось, чтобы предисловие к моей первой книжке о "тверских досугах" Пушкина написал Андроников, но я не смел и заикнуться об этом, ясно и трезво осознавая разность наших "весовых категорий". Но однажды, в свой очередной приезд в Тверь по приглашению тамошнего весьма просвещенного в ту пору руководства, он после вечера в берновском музее поэта, созданного руками здешних педагогов и школьников, сказал:

— Вы ведь писали об этом? Покажите-ка мне, если не возражаете.

Рукопись, которую я привез через несколько дней к нему в Москву, была не просто прочитана. Андроников отредактировал ее — деликатно, карандашом — и, что было совсем уж невероятно, приложил машинописную страничку... предисловия! Да такого, что у меня голова закружилась. Впрочем, хроническим недугом это не стало.

А Ираклий Луарсавович нацеливал меня на все новые и новые темы: — Покопайтесь хорошенько в местных архивах. Ведь тут жили, работали, писали, радовались и страдали и Крылов, и Салтыков-Щедрин, и Белинский. А Полторацкий! А Осипов! А Вульф! Это же клады с богатствами несметными! Не ленитесь — время уйдет, многое исчезнет безвозвратно, и тем, кто мог сохранить от забвения хотя бы крупицу нашего богатства, не оправдать своей бездельности, небрежности своего...

Появление на телеэкране его фильмов после долгих лет забвения, ставшего, увы, знакомой болезнью нашего нового, так называемого постсоветского времени, еще более утвердило их классичность. "Я хочу рассказать вам..." за которыми всегда следовало нечто неожиданное и необыкновенное, это знаменитое андрониковское присловье стало фирменной маркой классических созданий нашей духовности, одним из животворных — не музейных, но академических — ее образцов. А потому и радость от нового свидания с Андрониковым была всеобщей и искренней. Что же до меня, то это событие высветило в памяти одну из страниц — самую первую! — моего многолетнего общения с ним, подаренного мне судьбой.

В тот вечер в Ленинградском Большом драматическом театре давали "Карьеру Артура Уи".

Я давно хотел побывать в знаменитом театре, но, живя "далеко от берегов Невы", знал, что мечта моя если и осуществится, то весьма нескоро. И как выяснилось, ошибался.

Бог весть за какие заслуги (а командировку за пределы области тогда надо было именно заслужить) Омское телевидение, где в ту пору я работал редактором молодежных программ, направило меня в Ленинград для изучения опыта коллег. Они тогда гремели на всю страну, хотя не было у них ни курковского "Пятого колеса", ни невзоровских "600 секунд".

Время командировки оказалось весьма удачным для меня: в ту пору в Питер только что переехал мой старый друг и одноклассник по Ташкентскому университету Володя Рецеттер, блестящий филолог на гастролях в Москве и приглашенный са-

мим Товстоноговым в БДТ.

Однажды утром он сказал мне: — Сегодня, если у тебя не занят вечер, пойдём к нам, на "Карьеру..."

И уехал на репетицию. Я же после очередного "вплывания" опыта на ЛенТВ прибежал на набережную Фонтанки за час до спектакля. Десятки людей рыскали в поисках лишнего билетика, и это наполнило мое сердце, в сущности, нехорошей гордостью за мою "избранность", ибо я знал, что внесен в заветный список администратора и достаточно мне назвать свою фамилию, как Сезам откроется.

Спектакль мы досматривали вместе с Володей — он отыграл свое и пришел в зал. Когда отшумели аплодисменты и занавес наконец закрылся, он сказал:

— Я скоро вернусь, а ты покури и возвращайся.

— Зачем? — не понял я.

— Увидишь, — ответил он с загадочной улыбкой и исчез.

Курить я не пошел, сидел в пустом зале и терялся в догадках. Может, зрительская конференция будет. Однако в такое позднее время? Да и актеры, уже разгиримированные наскоро, стали появляться в первых рядах. Вот вошла Наталья Тенякова. Потом — Кирилл Лавров, Стрельчик, Колпакин... Откуда-то сбоку, словно из потайной двери, возник Товстоногов. Остановился, отделил зал, достал пачку "Мальборо", но закуривать не стал. К нему подошел и что-то спросил Лебедев...

Все это было весьма странно. Я чувствовал себя довольно неуютно и хотел было уже уйти, когда на сцене появились рабочие и принесли роскошное старое кресло и стол на гнутых ножках. След за ними вышла женщина в униформе со стаканом чая в подстаканнике, который был бережно поставлен на стол.

Мое любопытство, как сказал классик, достигло степени болезненной, и я решил подойти к стоящему неподалеку Сергею Юрскому, ибо он мне показавшийся в тот момент наиболее доступным из всех присутствующих. Узнать, так ли это на самом деле, я не успел: появился Володя.

— Извини, старик, — сказал он. — Ты тут не скучал?

— Нет, не скажи, наконец, что все это значит?

Ответить он не успел: раздался аплодисменты, и на сцену, улыбаясь и раскланиваясь, вышел Ираклий Андроников! Я не поверил своим глазам!

Это сегодня доступна любая знаменитость. За хороший гонорар тебе сам Клинтон сыграет на саксофоне и Пол Маккартни споет на Красной площади. А тогда, почти сорок лет назад...

Между тем аплодисменты смолкли. Андроников сел в кресло, и на сцену поднялся Георгий Александрович Товстоногов, так и не успевший закурить свою сигарету.

— Я рад, — сказал он, — представить вам человека, которого все мы знаем и любим. Искреннего и верного друга нашего театра. Ираклий Луарсавович приехал в Ленинград с концертами, и завтра вы сможете, если, конечно, сможете, послушать его в Большом зале филармонии, а сегодня он любезно согласился высту-

пить у нас, несмотря на столь позднее время. Спасибо, дорогой Ираклий Луарсавович!

Признаться, я был несколько удивлен энтузиазмом, с каким били в ладоши те, кто сам давно уже привык к восторженным овациям в свою честь. Оказывается, не только у меня, провинциала и начинающего тележурналиста, вызывает восторг этот удивительный человек с лицом доброго волшебника из андерсеновских сказок.

Слушая Товстоногова, сказочный человек широко и радостно улыбался и слегка кивал красивой своей головой. А на аплодисменты встал, раскланился и сказал, так и не погасив улыбку:

— Признаться, я смущен двумя обстоятельством. Во-первых, тем, что мне предстоит выступать на столь знаменитой сцене. Во-вторых, небывало высокой квалификацией аудитории. К тому же только что сыгравшей прекрасный спектакль. Да и время уже позднее, и было бы опрометчиво с моей стороны читать что-либо длинное. Вот почему я пребываю в некотором замешательстве: что же рассказать вам? Может быть, историю поездки в Италию? Рассказ этот называется "Римская опера", и вы, возможно, уже слышали его. Тогда потерпите...

Он сел в кресло, сделал глоток из, должно быть, уже остывшего стакана и сказал:

— Речь пойдет о поездке в Италию, когда во Флоренции должен был состояться конгресс Европейского общества писателей и большой группе советских литераторов было поручено представлять на этом конгрессе нашу страну...

Думаю, не только я, но и все остальные не сразу поняли, что рассказ уже начался, а это так — рабочее вступление. Однако потом, читая "Римскую оперу" в книге, я убедился, что Андроников был точен в каждом слове своего устного повествования.

Сюжет между тем завязывался, и прекрасный голос рассказчика, который то вставал со своего трона и расхаживал по сцене, то вновь садился, чтобы сделать глоток чая, и умолкал на несколько мгновений, словно вспоминал ту давнюю уже поездку, рассказу о которой внимал затихший зал. И начинал звучать вновь, заполняя все огромное пространство старого театра — до самых верхних, тонущих во мраке углов.

...В автобусе, — говорил Андроников, — где, кроме нас и нашего провожатого, посторонних никого не было, кто-то предложил делить слова так, чтобы получились подобия имен и фамилий. Берется слово, ну, скажем, хотя бы фамилия Веневитинов. Рассечь — получится Веня Витинов. Или фамилия Бенедиктов: Бенья Диктов...

Тут Ираклий Луарсавович остано-

Я напрягся и сказал:

— Да?

— Кто?

— Коля Зей!

Казакевич открыл глаза и быстро сел в постели.

— Вы это сами придумали?

— Ну а кто же!

— Я проверю. Он был один?

Я напряг мозги до последней возможности и сказал:

— Нет, с ним целая рота Зеев.

Казакевич выдохнул и упал навзничь.

— Вы не можете представить себе, как вы меня обрадовали! Я просто страдал оттого, что в этой игре вы оказались такой бездарностью!

Первые ряды партера, заполненные усталыми людьми со следами грима на лицах, тоже выдохнули и, беззвучно, упали бы навзничь, если бы не спинки кресел. Впрочем, это неправда, когда я говорю "усталых людей". Ее — этой усталости — и в помине не осталось за тот час, пока звучал в зале Ленинградского Большого драматического театра голос Ираклия Луарсавовича Андроникова — "колдуна, чародея, чудотворца, кудесника".

Было далеко за полночь, когда окончился блистательный спектакль после спектакля. Андроникова, спустившегося в зал, окружили. Благодарили. Поздравляли. Обнимали. Говорили всякие лестные слова. Наконец, подошли к нему и мы с Володей Рецеттером, который, как оказалось, был знаком с Андрониковым. Они дружески обнялись, после чего был представлен мэтру и я.

О чувствах, обуревавших меня в тот момент, говорить не буду, ибо не в состоянии адекватно выразить их на бумаге...

Прошло несколько лет, прежде чем судьба снова свела меня с Андрониковым. На этот раз уже на берегах Волги, в Калинин, где жил я в ту пору. Я не был уверен, что он помнит то мимолетное знакомство.

И ошибся.

Борис Николаевич Полевой, возглавлявший группу писателей, приехавших в Верхневолжье по случаю тридцатилетия освобождения Калинин, подвел меня к Андроникову и едва начал свою речь, как был прерван следующими словами:

— Оплздали, дорогой! Думаете, что вы один можете похвастаться знакомством с выдающимися людьми? Ошибаетесь! Я уже был представлен (так и сказал!) Алексеем Степановичем его университетским другом, прекрасным поэтом и актером Владимиром Эммануиловичем Рецеттером в Ленинграде, в БДТ, у Георгия Александровича Товстоногова.

Выслушав эту с улыбкой произнесенную тираду, Полевой воскликнул:

— Узнаю друга Ираклия! Везде поспел! Всех и все знает! Да и то ска-



И. Андроников и А. Пьянов на озере Селигер

вился. Улыбнулся как-то виновато и сказал:

— Все сочиняли. Я не мог придумать ничего.

Казакевич ко мне подходил. — Как! Вы еще ничего не придумали? Это позор! Вы же профессиональный писатель. Неужели вы не можете сочинить каламбур?

У меня ничего не выходило.

Казакевич шептал строго:

— Мне за вас неловко перед товарищами! Хотите, я подарю вам свое, а вы скажете, что наконец сочинили?

Я, конечно, понимал, что он шутит, и все же невыносимо страдал. Казакевич подходил снова:

— Не выдумали? Я дарю вам первую восковую вещь: велосипед — Василиа Педл...

После этой фразы Андроникова зал дружно грохнул. Смеялся и он сам. Громче всех, как мне казалось, хохотал Колпакин. Лебедев утирал слезы, а я тихонько, на колених, записывал на клочке программки детали этой реакции театра на рассказ звезды эстрады, который, в сущности, сам был настоящим театром.

Утихло смех и аплодисменты, и волшебство продолжилось.

— Как-то раз, — говорил Ираклий Луарсавович, поудобнее устроившись в кресле, — уже в Риме, я предложил Казакевичу совершить ночную прогулку. Он отказался — устал. Я пошел с Граниным и Антоновым. Ходили мы часа три. Долго стояли возле знаменитого Коллизея.

Когда я, стараясь не разбудить Казакевича, тихонько вошел в нашу комнату, он, не открывая глаз, спросил:

— Что вы так долго?

— Как жаль, что вы не пошли. Прогулка была изумительная!

— Вам кто-нибудь встретился по дороге?

Из театра вышли мы вчетвером: оказалось, что Юрскому и Теняковой с нами по дороге. Но на чем ехать? В Ленинграде — пубокая и, увы, совсем не белая ночь.

— Постойте здесь, а я попробую что-нибудь найти, — предложил Юрский и скрылся за углом.

Вернулся минут через десять. Следом за ним медленно катил пустой "Икарус".

— Больше ничего не было, — сказал Сергей Юрьевич. — Ну что, едем?

Мы ехали через ночной город и молчали.

В темных силуэтах мирно спящего Ленинграда мне мерещились очертания Коллизея.

Хотя я никогда не бывал в Италии.

Алексей ПЯНОВ
Фото Юрия КРЫЛОВА

PS. 15 марта нашему постоянно-му автору А.Пьянову исполнилось 70 лет. Мы поздравляем Алексея Степановича с юбилеем и желаем ему и себе новых встреч на страницах "Культуры".